

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Повесть

*И слеза моя безродной стала.
Глухо небо надо мной замкнулось,
И не внемлет плачу и молитве...*

П. Негош,

сербский поэт,
глава Черногории в 830-51 гг.

В последнее время, когда он задумывался над своим невеселым будущим, перед глазами все чаще вставал образ юного прапорщика на старой пожелтевшей фотографии, которую он видел всего раз, в Сербии: пустырь на окраине сибирского города, телеграфные столбы с порванными проводами, старое одинокое дерево. На переднем плане этого неуютного пейзажа, на фоне то ли железнодорожного разъезда, то ли какого заброшенного завода к морде строевого коня, к седлу которого была приторочена винтовка, прижался щекой юноша в военной полевой форме с печальными, обреченными глазами, словно он знал, что никогда больше не увидит ни своих родных, ни России, хотя знать того он тогда не мог. Более того, он надеялся вернуться, потому как фотография эта была своего рода шифром: под этим деревом юный прапорщик, отпрыск когда-то знатной в России фамилии, закопал остатки семейных драгоценностей, и по этой фотографии, если не он сам, то его родственники или близкие должны были со временем, по окончании гражданской войны, найти этот клад. Никто тогда, наверное, кроме Господа Бога, не знал, что никогда ни ему, ни сотням тысяч, ни миллионам других подобных не увидеть России, и останется в студеной сибирской земле невостребованным его клад, как и тысячи других. Если знали бы тогда они, старые и юные, не сражались бы в отчаянии за каждую пядь земли, преданные своими вождями, а молча ушли бы в изгнание. Или пустили бы себе пулю — кто в рот, кто в висок. Многие так и делали...

Иван не мог себе объяснить, почему в последнее время перед его глазами все чаще вставал именно этот юный прапорщик, которого он только раз видел на фотографии, и то, можно сказать, мельком. Который ему никем не приходился, не считая того, что тоже был русским и тоже офицером...

Это было в Сербии, в последнюю балканскую войну. В затишье между боев он с таким же бесприютным офицером-афганцем, подполковником Нелюбиным, заехал в небольшой городок Ключ, где у того была фронтовая подруга, или жена, полурусская, главврач местной больницы. Она и показала эту фотографию — своего деда, офицера Белой армии. Закопав под этим деревом фамильные ценности и начертив схему расположения клада, он попросил то ли какого местного, то ли армейского фотографа сфотографировать его на том месте, на всякий случай, если клад придется откапывать кому-нибудь из братьев. Разумеется, он надеялся вернуться, да еще в ближайшем времени, не подозревая, что впереди ему предстоит посадка на чужой корабль во Владивостоке, с которого начнется блуждание по чужим странам — Япония, Китай, потом он будет под руководством адмирала Вилькицкого, который до того в Англии пытался кур разводить и табуретки мастерить, обустривать границу между Алжиром и Марокко. Потом он, по пути в Прагу, куда пробивался с мечтой поступить в основанный там изгнанниками Русский университет, будет строить водопровод в Афинах, канализацию в Стамбуле, железную дорогу в Болгарии. Свернул в Югославию, чтобы на время приютиться у своего бывшего фронтового друга, осевшего в этом Ключе; друг скоро умер от старых фронтовых ран, а он, женившись на его вдове-невесте, полурусской-полусербке навсегда осел в Ключе. Что поразительно, его сын так и не стал сербом, умер раньше времени с тоской по России, которой никогда не видел.

Иван почему-то испытывал чувство родства с этим прапорщиком, прошедшим страшный путь унижений и страданий и легшим в землю Югославии. Его сербская внучка говорила, что до них не так давно дошли сведения, что одному из его братьев, как выяснилось, оставшихся в России, в Великую Отечественную войну было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, второй в гражданскую войну был расстрелян красными. А порой Ивану казалось, хотя он не верил в перевоплощение душ, что этот прапорщик — он сам в прежней жизни. Иначе: почему именно он так запал в его память, ведь у Ивана самого было немало родственников с не менее суровой, в том числе зарубежной судьбой? Только ли потому, что было много общего в их офицерской судьбе? Только тот был юн, и впереди у него была пусть суровая, но долгая жизнь, в том числе и любовь и семья, а он, Иван, был на пороге старости, и впереди у него ничего и никого не было. Чем дальше, тем чаще он задумывался, как будет доживать свою непутевую жизнь, когда уйдет здоровье, и он разом посыплется, как старая латаная машина. Перспектива доживания в каком-нибудь доме престарелых была для него страшнее могилы, это уж лучше пулю в лоб. Иван все чаще подумывал о монастыре. Это, может, был бы лучший выход. Но, чтобы уходить в монастырь, как минимум, нужно верить.

И чем безнадежнее вырисовывалось будущее, все чаще и настойчивее к нему приходила мысль: поехать в Сербию, хотя, наверное, сегодня не было в мире страны, кроме, может, Америки, куда бы ему ни при каких обстоятельствах не хотелось ехать. И потому что он потерпел там свое последнее поражение — и как солдат, и как русский. Но, главное, потому что его жертва и надежда, как и многих тысяч других русских, воевавших и не воевавших в Югославии, оказалась напрасной: он пришел к страшному выводу, что сербы, как и русские, или, точнее сказать, как часть когда-то единого древнерусского народа, не оправдали своего исторического, а значит, божественного предназначения. Да, сербы оказались одни в войне с Америкой и с так называемым мировым сообществом, да, их

предали, но когда они за тридцать американских сребреников сдали президента Милошевича, Иван только плюнул себе под ноги...

Меньше всего на свете ему хотелось ехать в Югославию. Впрочем, теперь уже не было такой страны, волна внутреннего, разрушительного распада, когда чужие кажутся ближе родных, продолжала катиться по славянскому миру, вместо Югославии на карте теперь были эфемерные Сербия и Черногория, у которых даже валюты были разные. Впрочем, на месте бывшей России были теперь тоже три не находящих общего языка и вроде бы с разными народами государства: так называемая Российская федерация, Белоруссия и «незалежна» Украина. Меньше всего ему хотелось ехать в Югославию, но там жил единственный теперь на планете человек, которому он, возможно, еще был нужен, и перед которым он испытывал смертельную вину.

Он наверняка знал, что эта поездка, кроме последнего жизненного поражения, ему ничего не принесет. Но, может, ему подспудно хотелось распрощаться с последней иллюзией, чтобы потом принять окончательное решение, как жить или вообще не жить дальше. Прежде чем решиться на поездку, он несколько раз попробовал позвонить в маленький сербский городок. Но в ответ были длинные гудки, словно там никто не брал трубку. Он написал письмо — одно, второе, но ответа не получил. Попытаться лететь прямо в Сербию, в Белград, он не решился. Он не без оснований предполагал, что новые сербские власти визу ему не дадут, а если и дадут, то, может, для того, чтобы заманить в западню, а потом арестовать как наемника или пособника того же Милошевича, к которому до выдачи его Гаагскому трибуналу Иван не испытывал особых симпатий, более того, считал его во многом виноватым в трагедии Югославии. Но зауважал, когда увидел, как мужественно тот держится на этом сволочном трибунале с полусумасшедшей бабой-прокурором.

Попытаться купить шенгенскую визу, например, в Италию, чтобы потом нелегально перебраться в Сербию, он тоже не решился: там он тоже мог красоваться в компьютере. После долгих раздумий он выбрал Болгарию: и потому что она только недавно ввела визы для России, и, наверное, при взаимном братском славянском сербско-болгарском недоверии вряд ли у них уже есть между собой визовое соглашение, и потому что у него был опыт нелегального перехода югославско-болгарской границы. Он не стал обращаться в болгарское посольство или консульство, а, полистав газету бесплатных объявлений, пошел в ближайшую подворотню, в одну из многочисленных туристических фирм, и через неделю держал в руках загранпаспорт с болгарской визой.

При оформлении визы он неожиданно приобрел спутника, который летел в Болгарию также на неделю с хвостиком по своим коммерческим делам, он надеялся наладить туристическо-курортный бизнес. «Понимаете, — объяснял он Ивану, — русские должны отдыхать в Болгарии, тем более после потери Крыма: общая славянская история, традиции, наконец, Шипка. Но болгары отгородились от нас во время нашей и своей перестройки, или мы бросили их, они повернулись на Запад, которому не нужны, да еще ввели визы, в результате вся Россия отдыхает в Турции, везет туда доллары, а болгарские курорты стоят пустые. Нужно восстановить прежние связи...» Иван удивился этому неожиданному славянскому патриотизму...

Иван всегда, особенно когда Россия была великой страной, с волнением пересекал в аэропорту красную пограничную полосу. Хотя, честно сказать, он пересекал ее таким образом, кажется, всего два раза в жизни, потому что в другие разы ему приходилось пересекать границу то на броне БМП, то в чреве военно-транспортного самолета, к тому же порой под чужой фамилией. И сейчас в Шереметьево он перешагнул красную полосу с особым волнением, он до сих пор сомневался, нужно ли это делать...

Столица Болгарии, красавица София, оставила удручающее впечатление. Не говоря уже о том, что, по сравнению с Москвой, здесь все было миниатюрным, она даже по сравнению с прошлым его приездом, пять лет назад, поразила своей неприбранностью, запущенностью. Она была похожа на опустившуюся до панели бывшую светскую красавицу.

О нищете духа и об отношении к России, спасшей Болгарию от 400-летнего турецкого ига, можно было судить по облезшей позолоте на куполе величественного собора Александра Невского, построенного в 20-30-е годы теперь уже прошлого века, в том числе на средства русских изгнанников; а ведь находился собор рядом с болгарским парламентом, точнее, наоборот: по сравнению с собором Александра Невского все в Софии казалось игрушечным. Но если раньше это невольное сравнение было светлым, свидетельствующим о великой роли России в судьбе Болгарии, то теперь оно свидетельствовало о потере Россией своей притягивающей силы. Он еще раз прочел, как бы проверяя, высеченные на стене собора слова: «Сооружен и украшен сей величественный храм Св. Александра Невского с престолом равноапостольных Кирилла и Мефодия и Св. царя Бориса по радолубивому решению первого народного собрания в Тырнове 13 апреля 1879 года усердием и добровольными пожертвованиями всего болгарского народа для увековечения его братской любви и глубокой признательности к русскому народу за освобождение Болгарии в 1878 году. Основной камень на этом месте был положен 19 февраля 1888 года. Построение храма началось в 1904 году. Освящение храма состоялось 13-14 сентября 1924 года. Вечная память павшим за свободу Болгарии русским воинам!»

Поставив свечи о здравии и за упокой, постояв в молчании перед образами, он спустился в крипту собора, где хранились сотни древних икон, начиная с XII века, собранных из разрушенных монастырей Людмилой Живковой, дочерью последнего генерального секретаря Болгарской компартии. Нигде и упоминания не было, что именно ею были собраны и спасены эти иконы. Иван был уверен: пройдет время, и потомки скажут ей спасибо, если, конечно, совсем не сойдут с ума. В свое время, в 1991 году, будучи по служебным делам в Софии, он оказался невольным свидетелем суда над Тодором Живковым. Судебный процесс, словно латиноамериканский сериал, изо дня в день с утра до вечера транслировался по болгарскому телевидению. Иван жил тогда в отеле «София» и с отвращением смотрел этот дурдом: на полусумасшедшую женщину-прокурора, даже внешне похожую на нынешнюю госпожу из Гаагского трибунала. Он еще тогда подумал, что женщины становятся прокурорами, наверное, из чувства неполноценности, из-за сексуальной неудовлетворенности, и единственно нормальным человеком, вызывающим симпатии на этом трибунале, был Тодор Живков, хотя до этого Иван не испытывал ни к нему лично, ни к Болгарской коммунистической партии особой любви...

Иван не мог не зайти в Русский храм Николая Чудотворца на Русском проспекте, братушки много чего переименовали, что так или иначе было связано с Россией, но им хватило ума не переименовывать Русский проспект. Постоял над могилой митрополита Серафима Соболева, автора «Русской идеологии». Прежде чем написать ее,

будущему митрополиту предстояло пройти путь русского изгнанника, начиная с Китая, похожий на путь того юного прапорщика...

По улице Ивана Аксакова (только на одном углу он нашел даже не табличку, а просто на стене краской было написано, как газовщики или водопроводчики пишут, что это улица Ивана Аксакова, Иван уже забеспокоился: неужели даже ее переименовали?) он дошел до площади, где когда-то был мавзолей Георгия Димитрова. Сейчас тут был сквер, на редкость ухоженный, с обилием цветов. Иван подумал: может, сюда ухлопали весь городской бюджет, лишь бы ничто не напоминало не только о мавзолее, но и о тех шизоидных днях его уничтожения, может, братушки начали стыдиться их? Ведь он был свидетелем, когда чуть ли не высшей гражданской доблестью считалось, расстегнув штаны, полить струей мавзолей. А то и прилюдно наложить у его стены кучу дерьма. Ничто так не говорит о народе, как поведение его в пору смуты. И тогда Иван впервые подумал: надо ли было освобождать братушек от турецкого ига, чтобы они сейчас вот рассказывали остроумный, по их мнению, анекдот, что не те их и не от тех освободили. Вволю помочившись на мавзолей, тем самым выразив свою гражданскую смелость, братушки на всякий случай все-таки ночью попытались взорвать его, но у них не получилось, мавзолей лишь грузно осел, накренившись на один бок. «Даже взорвать не могут...» — презрительно сплюнул он тогда.

Иван был свидетелем, как горело болгарское министерство обороны; он тогда ушел оттуда, его, как советского военного журналиста, запросто могли записать в поджигатели. Он, конечно, и предполагать не мог, что похожее беснование через несколько лет увидит в Москве и подумает: чем мы лучше братушек, только у них все мельче и пакостнее. Он холодел от ужаса: когда-то великий народ, огромная страна по телевизору смотрела расстрел Белого дома. А еще больше его потрясло: толпа, которая была частью народа, при каждом удачном танковом выстреле по Белому дому, особенно когда снаряд попадал в окно, кричала «ура». Неужели такова наша общая славянская суть?..

Иван Аксаков подвинул русское правительство на войну с Турцией, чтобы освободить Сербию и Болгарию от многовекового османского ига. Десятки тысяч русских погибли при освобождении Болгарии, а он, сжав зубы, наблюдал, как братушки по улицам Варны, один из кварталов которой носил имя Ивана Аксакова, носились с транспарантами: «Лучше турки, чем русские». И самое горькое, что в чем-то они были правы. Сейчас братушки, сломя голову, рвались в НАТО...

Еще из дому он позвонил в Софию своему старому другу Истилиану С., полковнику бывшей болгарской разведки, ныне пенсионеру, подрабатывающему, кажется, в Счетной палате:

— В скором времени я могу оказаться в Болгарии.

— Буду тебе очень рад.

— Ты меня извини, конечно, но к тебе прежняя просьба: не сможешь меня подбросить на своей машине к тому озеру? Помнишь, ты меня в последний раз подбрасывал?

— Конечно, — несколько помедлив, ответил тот, правда, без особого энтузиазма.

— В конце месяца позвоню тебе из Софии.

— Я встречу тебя.

— Не надо. Сам тебя найду.

И вот полчаса назад из холла той же гостиницы «София», которая торцом выходит на улицу Ивана Аксакова, он позвонил Истилиану. Тот был дома, и они договорились через час встретиться на задах Русской церкви на самостийном антикварном рынке. Когда он подошел, Истилиан уже ждал его около своих стареньких «Жигулей». Он погрузнел и был совершенно седой.

— Может, немного у меня погостишь?

— Если можно, отвези сейчас. У меня не так много времени.

— Около озера я договорился, пока там еще свои люди. Обратно этим же путем?

— Да.

— Тогда сегодня же назовешь день, чтобы они заранее знали...

Без особых приключений к следующему вечеру он добрался до нужного городка на юге Сербии. Выйдя из автобуса, в некоторой растерянности стоял на остановке: не верилось, что он снова тут. Его как бы разбудил колокол церкви Рождества Богородицы, напротив, через улицу, помнящей еще турецкое рабство, глухо звавший прихожан к вечерней службе. Немного выждав, Иван тоже вошел внутрь. Встал позади всех за строительными лесами, в храме шел ремонт. Как и в России, на службе были почти одни женщины.

Старый священник, обходя храм с кадилом, неожиданно кивнул ему: надо же, узнал... После окончания службы Иван, выждав, последним подошел к кресту.

— Я рад, что вы живы, — тихо сказал священник. — Сначала глазам не поверил.

— Так получилось, — словно извинился Иван.

— А я каждый раз поминал вас за упокой. Да и не только я, ваше имя я нередко встречал в поминальных записках. Впрочем, о здравии тоже. Кто-то верил или надеялся, что вы живы... Не знаю, известно ли вам, но на нашем кладбище есть ваша могила.

— Как? — не понял Иван.

— Я сам отпевал, тело было без головы, албанцы ее отрезали...

— То, что я числюсь в убитых, до меня дошла весть. Но что здесь есть моя могила... — Иван потряс головой, отряхиваясь от дурного сна.

— Да, так... — подтвердил отец Исидор.

— Так получилось, — как бы извинился, что он жив, Иван. — Долгое время я даже не подозревал, что числюсь в убитых. А когда узнал, грешен, решил: пусть так и будет. Во-первых, тогда это было мне на руку: может, не станут искать. А во-вторых, к тому времени я уже был мертв душой. И больше никому не хотел доставлять хлопот... Тогда я действительно был больше мертвый, чем живой. Я хотел, чтобы все забыли обо мне... Ну, пришла весть, что погиб, и отболело... Но что здесь моя могила...

Иван не стал оправдываться перед отцом Исидором, что таким образом он сбежал от Весны не потому, что хотел от нее сбежать, а потому, раз уж так получилось, что хотел оградить от неприятностей, которые ее из-за него неминуемо